



Томас Манн

СМЕРТЬ В ВЕНЕЦИИ

18+

настроение читать

Настроение читать (Азбука-Аттикус)

Томас Манн

Смерть в Венеции

«Азбука»

Манн Т.

Смерть в Венеции / Т. Манн — «Азбука», — (Настроение читать (Азбука-Аттикус))

ISBN 978-5-389-33962-0

Томас Манн – выдающийся немецкий писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе (1929), автор романов «Будденброки», «Волшебная гора», тетралогии «Иосиф и его братья». В настоящий сборник вошли известные новеллы Томаса Манна, маленькие шедевры, в числе которых «Смерть в Венеции», признанная одной из вершин в творчестве автора. Густав Ашенбах, маститый немецкий писатель, приезжает на морской курорт недалеко от Венеции в поисках отдохновения. Вся его жизнь подчинена писательскому труду, который является для Ашенбаха своего рода казармой, где царят порядок и самодисциплина. На курорте он встречает польского юношу Тадзио, наделенного античной, почти мифологической красотой, чувственной и одухотворенной, отражающей темные, гибельные и в то же время влекущие бездны человеческой души. Встреча с Тадзио, вестником смерти в зараженной холерой Венеции, для Ашенбаха становится фатальной... Новелла была написана в 1911 году. По признанию автора, на ее замысел немало повлияло известие о смерти великого Густава Малера, имя которого автор передал своему герою. Впоследствии «Смерть в Венеции» легла в основу знаменитого одноименного фильма Лукино Висконти.

ISBN 978-5-389-33962-0

© Манн Т.

© Азбука

Содержание

Смерть в Венеции	8
Конец ознакомительного фрагмента.	15

Томас Манн
Смерть в Венеции
Новеллы

Thomas Mann
DER TOD IN VENEDIG, LUISCHEN,
TRISTAN, TONIO KRÖGER,
WIE JAPPE UND DO ESCOBAR SICH PRÜGELTEN,
MARIO UND DER ZAUBERER

© С. К. Апт (наследник), перевод, 2026
© В. С. Вальдман (наследник), перевод, 2026
© В. Н. Курелла (наследник), перевод, 2026
© Н. С. Ман (наследник), перевод, 2026
© Издание на русском языке, оформление.
ООО «Издательство АЗБУКА», 2026
Издательство Азбука®

* * *

настроение читать

Томас Манн
СМЕРТЬ
В ВЕНЕЦИИ



Санкт-Петербург

Смерть в Венеции

Перевод Н. Ман

Густав Ашенбах, или фон Ашенбах, как он официально именовался со дня своего пятидесятилетия, в теплый весенний вечер 19... года, – года, который в течение столь долгих месяцев грозным оком взирал на наш континент, – вышел из своей мюнхенской квартиры на Принц-регентштрассе и в одиночестве отправился на дальнюю прогулку. Возбужденный дневным трудом (тяжким, опасным и как раз теперь потребовавшим от него максимальной тщательности, осмотрительности, проникновения и точности воли), писатель и после обеда не в силах был приостановить в себе работу продуцирующего механизма, того «*motus animi continuus*»¹, в котором, по словам Цицерона, заключается сущность красноречия; спасительный дневной сон, остро необходимый при все возрастающем упадке его сил, не шел к нему. Итак, после чая он отправился погулять в надежде, что воздух и движение его приободрят, подарят плодотворным вечером.

Было начало мая, и после сырых и промозглых недель обманчиво воцарилось жаркое лето. В Английском саду, еще только одевшемся нежной ранней листвой, было душно, как в августе, и в той части, что прилегала к городу, – полным-полно экипажей и пешеходов. В ресторане Аумейстера, куда вели тихие и уединенные дорожки, Ашенбах минуту-другую поглядел на оживленный народ в саду, у ограды которого стояло несколько карет и извозчичьих пролеток, и при свете заходящего солнца пустился в обратный путь, но уже не через парк, а по полю, так как очень устал. К тому же над Ферингом собиралась гроза. Он решил у Северного кладбища сесть в трамвай, который напрямиком доставит его в город.

По странной случайности на остановке и вблизи от нее не было ни души. Ни на Унгерштрассе, где блестящие рельсы тянулись по мостовой в направлении Швабинга, ни на Ферингском шоссе не видно было ни одного экипажа. Ничто не шелохнулось и за заборами каменотесных мастерских, где предназначенные к продаже кресты, надгробные плиты и памятники образовывали как бы второе, ненаселенное кладбище, а напротив, в отблесках уходящего дня, безмолвствовало византийское строение – часовня. На его фасаде, украшенном греческими крестами и иератическими изображениями, выдержанными в светлых тонах, были еще симметрически расположены надписи, выведенные золотыми буквами, – речения, касающиеся загробной жизни, вроде: «Внидут в обитель Господа», или: «Да светит им свет вечный». В ожидании трамвая Ашенбах развлекался чтением этих формул, стараясь погрузиться духовным взором в их прозрачную мистику, но вдруг очнулся от своих грез, заметив в портике, повыше двух апокалипсических зверей, охранявших лестницу, человека, чья необычайная наружность дала его мыслям совсем иное направление.

Вышел ли он из бронзовых дверей часовни или неприметно приблизился и поднялся к ней с улицы, осталось невыясненным. Особенно не углубляясь в этот вопрос, Ашенбах скорее склонялся к первому предположению. Среднего роста, тощий, безбородый и очень курносый, этот человек принадлежал к рыжеволосому типу с характерной для такового молочно-белой веснушчатой кожей. Обличье у него было отнюдь не баварское, да и широкополая бастовая шляпа, покрывавшая его голову, придавала ему вид чужеземца, пришельца из дальних краев. Этому впечатлению, правда, противоречили рюкзак за плечами – как у заправского баварца – и желтая грубошерстная куртка; с левой руки, которою он подбоченился, свисал какой-то серый лоскут, надо думать дождевой плащ, в правой же у него была палка с железным наконечником; он стоял, наклонно оперев ее в пол, скрестив ноги и бедром прислонившись к ее руко-

¹ Бесперывное движение души (*лат.*).

ятке. Задрав голову, так что на его худой шее, торчавшей из отложного воротничка спортивной рубашки, отчетливо и резко обозначился кадык, он смотрел вдаль своими белесыми, с красными ресницами глазами, меж которых, в странном соответствии со вздернутым носом, залежали две вертикальные энергические складки. В позе его – возможно, этому способствовало возвышенное и возвышающее местонахождение – было что-то высокомерно-созерцательное, смелое, дикое даже. И то ли он состроил гримасу, ослепленный заходящим солнцем, то ли его лицу вообще была свойственна некая странность, только губы его казались слишком короткими, оттянутые кверху и книзу до такой степени, что обнажали десны, из которых торчали белые длинные зубы.

Возможно, что Ашенбах, рассеянно, хотя и пытливо, разглядывая незнакомца, был недостаточно деликатен, но вдруг он увидел, что тот отвечает на его взгляд, и притом так воинственно, так в упор, так очевидно желая его принудить отвести глаза, что, неприятно задетый, он отвернулся и зашагал вдоль заборов, решив больше не обращать внимания на этого человека. И мгновенно забыл о нем. Но либо потому, что незнакомец походил на странника, либо в силу какого-нибудь иного психического или физического воздействия, Ашенбах, к своему удивлению, внезапно ощутил, как неимоверно расширилась его душа; необъяснимое томление овладело им, юношеская жажда перемены мест, чувство, столь живое, столь новое или, вернее, столь давно не испытанное и позабытое, что он, заложив руки за спину и взглядом уставившись в землю, замер на месте, стараясь разобраться в сути и смысле того, что произошло с ним.

Это было желанье странствовать, вот и все, но оно налетело на него, как приступ лихорадки, обернулось туманящей разум страстью. Он жаждал видеть, его фантазия, еще не умиротворившаяся после долгих часов работы, воплощала в единый образ все чудеса и все ужасы пестрой нашей земли, ибо стремилась их представить себе все зараз. Он видел: видел ландшафт под небом, тучным от испарений, тропические болота, невероятные, сырые, избыточные, подобие дебрей первозданного мира, с островами, топями, с несущими ил водными протоками; видел, как из густых зарослей папоротника, из земли, покрытой сочными, налитыми, диковинно цветущими растениями, близкие и далекие, вздымались волосатые стволы пальм; видел причудливо безобразные деревья, что по воздуху забрасывали свои корни в почву, в застойные, зеленым светом мерцающие воды, где меж плавающими цветами, молочно-белыми, похожими на огромные чаши, на отмелях, нахохлившись, стояли неведомые птицы с уродливыми клювами и, не шевелясь, смотрели куда-то вбок; видел среди узловатых стволов бамбука искрящиеся огоньки – глаза притаившегося тигра, – и сердце его билось от ужаса и непостижимого влечения. Затем виденье погасло, и Ашенбах, покачав головой, вновь зашагал вдоль забора каменотесных мастерских.

Давно уже, во всяком случае с тех пор, как средства стали позволять ему ездить по всему миру когда вздумается, он смотрел на путешествия как на некую гигиеническую меру и знал, что ее надо осуществлять время от времени, даже вопреки желаниям и склонностям. Слишком занятый задачами, которые ставили перед ним европейская душа и его собственное «я», не в меру обремененный обязанностями творчества, бежавший рассеяния и потому неспособный любить шумный и пестрый мир, он безоговорочно довольствовался созерцанием того, что лежит на поверхности нашей земли и для чего ему нет надобности выходить за пределы своего привычного круга, – и никогда не чувствовал искушения уехать из Европы. С той поры, как жизнь его начала клониться к закату и ему уже нельзя было, словно от пустой причуды, отмахнуться от присущего художнику страха не успеть, от тревоги, что часы остановятся, прежде чем он совершит ему назначенное и отдаст всего себя, внешнее его бытие едва ли не всецело ограничилось прекрасным городом, ставшим его родиной, да незатейливым жильем, которое он себе выстроил в горах и где проводил все дождливое лето.

И то, что сейчас так поздно и так внезапно нашло на него, вскоре было обуздано разумом, упорядочено смолоду усвоенной самодисциплиной. Он решил довести свое творение, для

которого жил, до определенной точки, прежде чем перебраться в горы, и мысль о шатанье по свету и, следовательно, о перерыве в работе на долгие месяцы показалась ему очень беспутной и разрушительной; всерьез об этом нечего было и думать. Тем не менее он слишком хорошо знал, на какой почве возросло это неожиданное искушение. Порывом к бегству, говорил он себе, была эта тоска по дальним краям, по новизне, эта жажда освободиться, сбросить с себя бремя, забыться – бежать прочь от своей работы, от будней неизменного, постылого и страстного служения. Правда, он любил его, едва ли не любил даже изматывающую, ежедневно обновляющую борьбу между своей гордой, упорной, прошедшей сквозь многие испытания волей и этой все растущей усталостью, о которой никто не должен был знать, которая ни малейшим признаком упрощения, вялости не должна была сказаться на его творении. И все же неблагоприятно слишком натягивать тетиву, упрямо подавлять в себе столь живое и настойчивое желание. Он стал думать о своей работе, о том месте, на котором застрял сегодня, так же как и вчера, ибо оно равно противилось и терпеливой обработке, и внезапному натиску. Он пытался прорываться через препятствие или убрать его с дороги, но всякий раз отступал с гневом и содроганием. Не то чтобы здесь возникли какие-нибудь особенные трудности, нет, ему мешала мнительная нерешительность, оборачивающаяся уже постоянной неудовлетворенностью собой. Правда, в юные годы эту неудовлетворенность он считал сущностью и природой таланта, во имя ее он отступал, обуздывал чувство, зная, что оно склонно довольствоваться беспечной приблизительностью и половинчатой завершенностью. Так неужто же, поработанное, оно теперь мстит за себя, отказываясь впредь окрылять и живить его искусство? Неужто оно унесло с собою всю радость, все восторги, даруемые формой и выражением? Нельзя сказать, что он писал плохо; преимуществом его возраста было, по крайней мере, то, что с годами в нем укрепилась спокойная уверенность в своем мастерстве. Но хотя вся немецкая нация превозносила это мастерство, сам он ему не радовался; писателю казалось, что его творению недостает того пламенного и легкого духа, порождаемого радостью, который больше, чем глубокое содержание (достоинство, конечно, немаловажное), составляет счастье и радость читающего мира. Он страшился лета, страшился быть одиноким в маленьком доме, с кухаркой, которая стряпает ему, и слугою, который подает на стол эту стряпню; страшился привычного вида горных вершин и отвесных скал, когда думал, что они снова обступят его, вечно недовольного, вялого. Значит, необходимы перемены, толика бродячей жизни, даром потраченные дни, чужой воздух и приток новой крови, чтобы лето не было тягостно и бесплодно. Итак, в дорогу – будь что будет! Не в слишком дальнюю, до тигров он не доедет. Ночь в спальном вагоне и две-три недели отдыха в каком-нибудь всемирно известном уголке на ласковом юге...

Так он думал, когда с Унгерерштрассе, грохоча, подкатил трамвай, а встав на подножку, окончательно решил посвятить сегодняшней вечер изучению карты и железнодорожных маршрутов. На площадке он вспомнил о человеке в бастовой шляпе, сотоварище своего пребывания здесь, отнюдь не беспоследственного пребывания, и огляделся по сторонам. Куда исчез этот человек, он так и не понял, но ни на прежнем месте, ни возле остановки, ни в вагоне трамвая его не было.

Творец могучей и точной прозаической эпопеи о жизни Фридриха Прусского, терпеливый художник, долго, с великим тщанием вплетавший в ковер своего романа «Майя» множество образов, множество различных человеческих судеб, соединившихся под сенью одной идеи; автор интересного и сильного рассказа, названного им «Ничтожный», который целому поколению благодарной молодежи явил пример моральной решительности, основанной на глубочайшем знании; наконец (и этим исчерпываются основные произведения его зрелой поры), создатель страстного трактата «Дух и искусство», конструктивную силу и диалектическое красноречие которого самые требовательные критики ставили вровень с Шиллеровым рассуждением о наивной и сентиментальной поэзии, – Густав Ашенбах родился в Л. – окружном городе

Силезской провинции, в семье видного судейского чиновника. Предки его, офицеры, судьи и чиновники, служа королю и государству, вели размеренную, пристойно-скудную жизнь. Дух более пылкий воплотился у них в личности некоего проповедника; более быструю и чувственную кровь в прошлом поколении принесла в семью мать писателя, дочка чешского капельмейстера. От нее шли и признаки чуждой расы в его внешности. Сочетание трезвой, чиновничьей добросовестности с темными и пламенными импульсами породило художника, именно этого художника.

Поелику Ашенбах всем своим существом стремился к славе, он, отнюдь не отличаясь особой скороспелостью, сумел благодаря характерному, очень индивидуальному чекану своего письма рано занять видное общественное положение. Имя себе он составил еще будучи гимназистом, а через десять лет научился представлять, не отходя от письменного стола, и в нескольких ответных строчках, всегда кратких (ибо многие взывают к тому, кто преуспел и заслужил доверие), управлять своей славой. В сорок лет, усталый от тягот и превратностей прямой своей работы, он должен был ежедневно просматривать груды писем, снабженных марками всех стран нашей планеты.

Равно далекий от пошлости и эксцентрических вычур, его талант был словно создан для того, чтобы внушить доверие широкой публике и в то же время вызывать восхищенное, поощрительное участие знатоков. И так, еще юношей, со всех сторон призываемый к подвигу, – и к какому подвигу! – он не знал досуга и беспечной молодости. Когда на тридцать пятом году жизни он захворал в Вене, один тонкий знаток человеческих душ заметил в большой компании: «Ашенбах смолodu жил вот так, – он сжал левую руку в кулак, – и никогда не позволял себе жить этак», – он разжал кулак и небрежно уронил руку с подлокотника кресла. Этот господин попал в точку. Моральная отвага здесь в том и заключалась, что, по природе своей отнюдь не здоровяк, он был только призван к постоянным усилиям, а не рожден для них.

Врачи запретили мальчику посещать школу, и он вынужден был учиться дома. Выросший в одиночестве, без товарищей, Ашенбах все же сумел вовремя понять, что принадлежит к поколению, в котором редкость отнюдь не талант, а физическая основа, необходимая для того, чтобы талант созрел, – к поколению, рано отдающему все, что есть у него за душой, и к старости обычно уже бесплодному. Но его любимым словом было «продержаться», – и в своем романе о Фридрихе Прусском он видел прежде всего апофеоз этого слова-приказа, олицетворявшего, по его мнению, суть и смысл героического стоицизма. К тому же он страстно хотел дожить до старости, так как всегда считал, что истинно великим, всеобъемлющим и по праву почитаемым может быть только то искусство, которому дано было плодотворно и своеобразно проявить себя на всех ступенях человеческого бытия.

Поскольку задачи, которые нагружал на него талант, ему приходилось нести на слабых плечах, а идти он хотел далеко, то прежде всего он нуждался в самодисциплине, – к счастью, это качество было его наследственным уделом с отцовской стороны. В сорок, в пятьдесят лет, в том возрасте, когда другие растрачивают время, предаются сумасбродствам, бездумно откладывают выполнение заветных планов, он начинал день с того, что подставлял грудь и спину под струи холодной воды, и затем, установив в серебряных подсвечниках по обе стороны рукописи две высокие восковые свечи, в продолжение нескольких часов честно и ревностно приносил в жертву искусству накопленные во сне силы. И было не только простительно, но знаменовало его моральную победу то, что непосвященные ошибочно принимали весь мир «Майи» и эпический фон, на котором развевалась героическая жизнь Фридриха, за создание сконцентрированной силы, единого дыхания, тогда как в действительности его творчество было плодом ежедневного кропотливого труда, напластовавшего в единый величественный массив сотни отдельных озарений, и если хорош был весь роман, вплоть до мельчайших деталей, то лишь оттого, что его творец с неотступным упорством, подобным тому, что некогда покорило

его родную провинцию, годами выдерживал напряжение работы над одной и той же вещью, отдавая этой работе только свои самые лучшие, самые плодотворные часы.

Для того чтобы значительное произведение тотчас же оказывало свое воздействие вглубь и вширь, должно существовать тайное средство, более того, сходство между личной судьбой автора и судьбой его поколения. Людям неведомо, почему они венчают славою произведение искусства. Отнюдь не будучи знатоками, они воображают, что открыли в нем сотни достоинств, лишь бы подвести основу под жгучую свою заинтересованность; но истинная причина их восторга – это нечто невесомое: симпатия. Ашенбах как-то обмолвился в одном из проходных мест романа, что почти все великое утверждает себя как некое «вопреки» – вопреки горю и муке, вопреки бедности, заброшенности, телесным немощам, страсти и тысячам препятствий. Но это было больше, чем ненароком брошенное замечание; это было знание, формула его жизни и славы, ключ к его творениям. И неудивительно, что эта формула легла в основу характеров и поступков его наиболее оригинальных персонажей.

Относительно нового, многократно повторенного и всякий раз сугубо индивидуального типа героя, излюбленного этим писателем, один очень неглупый литературный анатом давно уже написал, что он «концепция интеллектуальной и юношеской мужественности», которая-де «в горделивой стыдливости стискивает зубы и стоит не шевелясь, когда мечи и копья пронзают ей тело». Это было сказано остроумно и точно, несмотря на известную пассивность формулировки. Ведь стойкость перед лицом рока, благообразие в муках означают не только страстотерпие; это активное действие, позитивный триумф, и святой Себастиан – прекраснейший символ если не искусства в целом, то, уж конечно, того искусства, о котором мы говорим. Стоит заглянуть в этот мир, воссозданный в рассказе, и мы увидим: изящное самообладание, до последнего вздоха скрывающее от людских глаз свою внутреннюю опустошенность, свой биологический распад; физически ущербленное желтое уродство, что умеет свой тлеющий жар раздуть в чистое пламя и взнестись до полновластия в царстве красоты; бледную немочь, почерпнувшую свою силу в пылающих недрах духа и способную повергнуть целый кичливый народ к подножию креста, к своему подножию; приятную манеру при пустом, но строгом служении форме; фальшивую, полную опасностей жизнь, разрушительную тоску и искусство прирожденного обманщика. У того, кто вгляделся в эти и в им подобные судьбы, невольно возникло сомнение, есть ли на свете иной героизм, кроме героизма слабых. И что же может быть современнее этого? Густав Ашенбах был поэтом тех, кто работает на грани изнеможения, перегруженных, уже износившихся, но еще не рухнувших под бременем, всех этих моралистов действия, недоростков со скудными средствами, которые благодаря сосредоточенной воле и мудрому хозяйствованию умеют, пусть на время, обрядиться в величие. Их много, и они герои эпохи. Все они узнали себя в его творении; в нем они были утверждены, возвышены, воспеты; и они умели быть благодарными и прославлять его имя.

Он был молод и неотесан, как его время, дававшее ему дурные советы, он спотыкался, впадал в ошибки, перед всеми обнаруживал свои слабые стороны, словом и делом погрешал против такта и благоразумия. Но он выработал в себе чувство собственного достоинства, к которому, по его утверждению, всегда стремится большой талант, более того, можно сказать, что все его развитие было восхождением к достоинству, сознательным и упорным, сметающим со своего пути все препоны иронии и сомнений.

Живая, духовно незначительная общедоступность воплощения приводит в восторг буржуазное большинство, но молодежь, страстную и непосредственную, захватывает только проблематическое. Ашенбах ставил проблемы и был непосредствен, как юноша. Он был оброчным духом, хищнически разрабатывал залежи познания, перемалывал предназначенное для посева, выбалтывал тайны, брал под подозрение талант, предавал искусство, и покуда его творения услаждали, жилили и возвышали благоговееющих почитателей, он, еще молодой художник,

ошеломлял зеленых юнцов циническими рассуждениями о сомнительной сущности искусства и служения ему.

Но видимо, ничто не пресыщает благородный и сильный дух больше и окончательнее, чем пряная и горькая прелесть познания. И конечно, тяжелодумная, добросовестнейшая основательность юноши поверхностна по сравнению с многоопытной решимостью зрелого мужа и мастера – отрицать знание, бежать его, с высоко поднятой головой через него переступить, коль скоро оно способно умерить, ослабить, обесчестить волю. И разве нашумевший рассказ «Ничтожный» не был взрывом острой неприязни к непристойному психологизированию века, который воплощен здесь в образе мягкотелого и вздорного мерзавца, из бессилия, порочности и этической неполноценности толкающего свою жену в объятия безбородого юнца, полагая при этом, что глубина чувств служит оправданием его низости. Могучее слово, презрением клеймившее презренное, возвещало здесь отход от нравственной двусмысленности, от всякого сочувствия падению; оно зачеркивало дряблую сострадательность пресловутого речения «все понять – значит все простить», и то, что здесь готовилось, нет, что здесь уже свершилось, было тем «чудом возрожденного простодушия», о котором немного позднее решительно, хотя и не без некоей таинственной завуалированности, говорилось в диалоге того же автора. Странное стечение обстоятельств! А может быть, именно следствием этого «возрождения», этого нового достоинства и строгости, и стало почти невероятное обостренное чувство красоты, благородной ясности, простоты и ровности формы, которое проявилось именно в ту пору и навсегда сообщило его произведениям высокое мастерство, классическую статью? Но нравственная целеустремленность по ту сторону знания, по ту сторону разрешающего и сдерживающего постижения – разве она, в свою очередь, не ведет к нравственному упрощению мира и души человеческой, а следовательно, к усилению тяги ко злу, к подзапретному, нравственно недопустимому? И разве у формы не два лика? Ведь она одновременно нравственна и безнравственна – нравственна как результат и выражение самодисциплины, безнравственна же, более того, антинравственна, поскольку, в силу самой ее природы, в ней заключено моральное безразличие и она всеми способами стремится склонить моральное начало под свой гордый самодержавный скипетр.

Как бы там ни было! Развитие равнозначно участи, и если его сопровождает доверие масс, широкая известность, может ли оно протекать как другое, лишенное блеска и не ведающее требований славы? Только безнадежная богема скучает и чувствует потребность посмеяться над большим талантом, когда он, прорвав кокон ребяческого беспутства, постигает достоинство духа, усваивает строгий чин одиночества, поначалу исполненного жестоких мук и борений, но потом возымевшего почетную власть над людскими сердцами. Сколько игры, упорства и упоения включает в себя самовыращивание таланта! Нечто официозно-воспитательное проявилось и в писаниях Густава Ашенбаха в зрелые годы; в его стиле не было уже ни молодой отваги, ни тонкой игры светотени, он сделался образцово-непререкаемым, отшлифованно-традиционным, незабываемым, даже формальным и формулообразным, так что невольно вспоминалась легенда о Людовике Четырнадцатом, под конец жизни будто бы изгнавшем из своей речи все пошлые слова. В то время ведомство народного просвещения включило избранные страницы Ашенбаха в школьные хрестоматии. Ему было по сердцу, и он не ответил отказом, когда некий немецкий государь, только что взошедший на престол, пожаловал певцу «Фридриха» в день его пятидесятилетия личное дворянство.

После нескольких беспокойных лет и нескольких попыток где-нибудь обосноваться он поселился в Мюнхене и с тех пор жил там в почете и уважении, лишь в редких случаях становящихся уделом духа. Брак, в который он вступил еще почти юношей с девушкой из профессорской семьи, был расторгнут ее смертью. У него осталась дочь, теперь уже замужняя. Сына же никогда не было.

Густав Ашенбах был чуть пониже среднего роста, брюнет с бритым лицом. Голова его казалась слишком большой по отношению к почти субтильному телу. Его зачесанные назад волосы, поредевшие на темени и на висках уже совсем седые, обрамляли высокий, словно рубцами изборожденный лоб. Дужка золотых очков с неоправленными стеклами врезалась в переносицу крупного, благородно очерченного носа. Рот у него был большой, то дряблый, то вдруг подтянутый и узкий; щеки худые, в морщинах; изящно изваянный подбородок делила мягкая черточка. Большие испытания, казалось, пронеслись над этой часто страдальчески склоненной набок головой; и все же эти черты были высечены резцом искусства, а не тяжелой и тревожной жизни. За этим лбом родилась сверкающая, как молния, реплика в разговоре Вольтера и короля о войне. Эти усталые глаза с пронизывающим взглядом за стеклами очков видели кровавый ад лазаретов Семилетней войны. Искусство и там, где речь идет об отдельном художнике, означает возвышенную жизнь. Оно счастливит глубже, пожирает быстрее. На лице того, кто ему служит, оно оставляет следы воображаемых или духовных авантюр; даже при внешне монастырской жизни оно порождает такую избалованность, переутонченность, усталость, нервное любопытство, какие едва ли может породить жизнь самая бурная, полная страстей и наслаждений.

Множество дел, светских и литературных, почти две недели после той прогулки продержали в Мюнхене объятую жаждой странствий Ашенбаха. Наконец он велел привести в порядок загородный дом к своему приезду через месяц и во второй половине мая отбыл с ночным поездом в Триест, где остановился на сутки, чтобы следующим утром сесть на пароход, идущий в Полу.

Так как он искал чуждого, несхожего с обычным его окружением и вдобавок чтобы до него было рукой подать, то избрал для своего временного жительства остров в Адриатическом море, неподалеку от берегов Истрии, который в последние годы стал пользоваться широкой известностью; остров с красиво изрезанной линией скал в открытом море и с населением, одетым в живописные лохмотья и изъясняющимся на языке, странно чуждом нашему слуху. Однако дожди, тяжелый влажный воздух и провинциальное, состоящее из одних австрийцев общество в отеле, равно как и невозможность тихого душевного общения с морем, даруемого только ласковым песчаным берегом, раздражали его. Вскоре он убедился, что сделал неправильный выбор. Куда его тянет, он точно не знал, и вопрос «Так где же?» для него оставался открытым. Он принялся изучать рейсы пароходных линий, ищущим взором вглядывался в дали, как вдруг неожиданно и непреложно перед ним возникла цель путешествия. Если за одну ночь хочешь достичь сказочно небывалого, несравнимого, куда направиться? О, это ясно! Зачем он здесь? Конечно же, он ошибся. Туда и надо ехать сразу. Больше он уже не будет медлить с отъездом со злополучного острова. Через полторы недели после прибытия быстрая моторка в тумане раннего утра уже увозила Ашенбаха и его багаж к Военной гавани, где он ступил на землю лишь затем, чтобы тотчас же подняться по трапу на мокрую палубу парохода, разводившего пары для отплытия в Венецию.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.